

половины 1820-х – начала 1830-х гг. объём власти главы учебного округа⁶², а также личные связи и статус позволяли Строганову не только участвовать в делах университетского сообщества, но и вести достаточно автономную от министерства политику. В результате в ходе интенсивного строительства государственной системы управления университетами, в контексте ускоренного создания «русской науки» и «русского просвещения» мирового уровня, в ходе кадровых чисток «учёных сословий» рождался новый тип университетского человека с западными знаниями, национальным сознанием и верой в просвещённое правительство.

⁶² См. подробнее: Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: университетская корпоративность vs. профессиональная солидарность. М., 2012. С. 46–65; Ильина К.А. «Рассадники просвещения»: метаморфозы назначений попечителей в учебные округа России первой трети XIX века // Уроки истории – уроки историка... С. 227–234.

«История Императорского Московского университета» С.П. Шевырёва: от скандала к юбилею

Вадим Парсамов

«История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею 1755–1855» профессором С.П. Шевырёвым, – первая история российского университета. Уже в силу данного обстоятельства она стала неотъемлемой частью самой этой истории, и почти все отечественные авторы, пишущие на близкие темы, неизменно обращаются к труду Шевырёва как к некоему эталону университетской истории¹. Современный историк Ф.А. Петров называет «заслуги Шевырёва в изучении истории Московского университета» «в настоящее время никем не оспариваемыми», правда при этом добавляет, что «порой “История” Шевырёва выглядит излишне риторично»². Эта риторичность, как правило, относится на счёт юбилейного характера текста и воспринимается как что-то внешнее, не имеющее прямого отношения к трудоёмкой

© 2015 г. В.С. Парсамов

В статье использованы результаты работы над проектом «Практики аттестации и присвоения учёных степеней в европейских университетах Нового времени», выполненным в рамках программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики» в 2014 г.

¹ Петров Ф.А. С.П. Шевырёв – профессор истории российской словесности в Московском университете. М., 1999; Алексеева Е.Д. С.П. Шевырёв и столетний юбилей Московского университета // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2004. № 2. С. 106–121; она же. «Мы дела “Шевырёвского” не могли оставить...» (О подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Московского университета) // Там же. 2005. № 4. С. 3–32; Кулакова И.П. Протоколы конференции Московского университета второй половины XVIII века: История создания и использования. Препринт. М., 2013; Вишленкова Е.Л. Университетский XIX век в России: Дискурсивная история // Изобретение века: проблемы и модели времени в России и Европе XIX столетия. М., 2013. С. 297–301.

² Петров Ф.А. Указ. соч. С. 41.

работе, проделанной автором над большим количеством разнообразных источников. Неоднократно отмечался официальный тон шевырёвской «Истории», её связь с теорией официальной народности и т.д.³

Присоединяя к термину «история» эпитет «юбилейная» или «официальная», мы тем самым как бы признаём, что перед нами не совсем история в её подлинном виде. И отношение к ней во многом зависит от отношения к официальной пропаганде, являющейся в данном случае важнейшим критерием оценки. Так, например, Н.Г. Чернышевский, первый отозвавшийся в печати на книгу Шевырёва, сразу же обратил внимание читателей на то, что в ней «почти исключительно преобладает официальный тон». Поэтому Шевырёв, по мнению Чернышевского, стал летописцем, а не историком университета, и как летописец подчинил изображение событий не их внутренней логике, а влиянию внешних обстоятельств, представив развитие университета как результат воздействия на него «различных сановников». «Конечно, – иронично добавляет автор, – таким планом много был облегчён труд составления книги»⁴, намекая на то, что прагматическая, т.е. подлинная, история Московского университета, связанная с его культурной ролью и зависящая в первую очередь от людей науки, а не от чиновников, в то время появиться не могла.

Это прекрасно понимал и сам Шевырёв, когда писал М.П. Погодину всего через год после юбилея, но уже в совершенно другую эпоху: «В отношении к университету я грешен: я мало сознал грехи его. Но университет был тогда в опале: как же в день столетних именин было нападать на него? Я ему ещё скажу правду – и считаю это обязанностью»⁵. Сам факт того, что автор откровенно признаёт неправдивость своей истории, свидетельствует о вполне осознанном конструировании прошлого. Шевырёв не просто создаёт текст таким, каким считает нужным, он пишет его, обращаясь к вполне реальному читателю – Николаю I. Ему посвящён этот труд, представляющий собой историю университета *Его Императорского Величества*, изложенную как дело его предков, перешедшее к нему по наследству и продолженное достойным образом. Стремление прославить монархов, и особенно царствующего в то время Николая, как просветителей народа и покровителей университета уже само по себе делает неизбежным преобладание риторических штампов над объективно-беспристрастным изложением фактов. Таким образом риторичность становится не украшающим дополнением к самой истории, а конструирующим принципом построения текста.

Выбор царя в качестве адресата было бы неверно объяснять лишь сервилизмом Шевырёва, в чём его нередко упрекали оппоненты. В начале 1850-х гг., когда он приступил к работе над «Историей», за этим стояло вполне искреннее желание защитить университет от тех нападок, о которых он позже упомянул в цитируемом выше письме к Погодину. Дело в том, что в 1849 г., примерно за год до того, как было принято решение праздновать столетний юбилей Московского университета, вокруг последнего вдруг возник скандал, выплывший в печать. Этому предшествовала довольно долгая история. В ноябре 1847 г. был отправлен в отставку попечитель Московского учебного округа

³ Подробнее см.: Жукова А.Н. История Императорского Московского университета в контексте официальной идеологии Николаевской эпохи (URL: <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/1332>).

⁴ Там же. С. 27.

⁵ Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 14. СПб., 1900. С. 522–523.

С.Г. Строганов, имевший репутацию «просвещённого вельможи» и пользовавшийся уважением в университетской среде⁶. Причиной отставки послужило нежелание считаться с циркуляром от 27 мая 1847 г., разосланным по университетам министром просвещения С.С. Уваровым. В основе этого циркуляра лежало противопоставление русской народности остальному славянскому миру: «Всё, что мы имеем на Руси, принадлежит нам одним, без участия других славянских народов». В соответствии с этим преподавателям предлагалось осуществлять «возбуждение духа отечественного не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, в пределах науки, без всякой примеси современных идей политических»⁷. Циркуляр, как известно, был продиктован чисто политическими соображениями, вызванными негативной реакцией Николая I на распространявшиеся в России идеи славянского единства. Но в то же время он противоречил Уставу 1835 г., согласно которому в университетах должна была в обязательном порядке преподаваться «История и литература славянских наречий»⁸. Газета «Молва», издаваемая Н.И. Надеждиным, писала по этому поводу: «К числу важнейших нововведений по части учебной принадлежит учреждение особой кафедры славянских наречий в словесном отделении философского факультета. Это обещает новую эру для русского языка и русской литературы»⁹. Тогда с этим связывалось повышение уровня знаний. Теперь же Уваров, развернувшись на 180 градусов, заклинал: «Да слышится в университетах имя русского, как слышится оно в русском народе, который, не мудрствуя лукаво, без воображаемого славянства, сохранил веру отцов наших, язык, нравы, обычаи, всю народность»¹⁰.

С.Г. Строганов в резкой форме отказался выполнять предписание министра, что вызвало негативную реакцию Николая I¹¹. Уваров со своей стороны, желая продемонстрировать собственную власть над гордым аристократом, в октябре 1847 г. приостановил готовящийся к печати перевод записок Флетчера о России. Перевод делался Обществом истории и древностей российских по личному распоряжению Строганова, бывшего председателя этого общества. Основанием для запрета послужил донос Шевырёва, вставшего на сторону Уварова¹². Строганов, по его собственным словам, «не чувствуя себя способ-

⁶ Подборку высказываний современников о С.Г. Строганове см.: *Петров Ф.Л.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 4: Российские университеты и люди 1840-х годов. Ч. 1. Профессура. М., 2003. С. 127–134; 433–436.

⁷ *Уваров С.С.* Избранные труды. М., 2010. С. 500.

⁸ ПСЗ-II. Т. 10. Отд. 2. СПб., 1836. С. 842.

⁹ Молва, газета мод и новостей. Ч. 11. М., 1836. С. 3.

¹⁰ *Уваров С.С.* Указ. соч. С. 501.

¹¹ Шеф жандармов А.Ф. Орлов вернул Строганову его письмо со следующей резолюцией: «Государь император, прочитав донесение Вашего сиятельства к министру народного просвещения, изволил возвратить к Вам означенное, при сём прилагаемое, донесение Ваше, поставив Вам на вид, что Вы никогда ни под каким предлогом не должны были выходить из надлежащего уважения к Вашему начальнику; а с тем вместе вменить Вам в обязанность, чтобы Вы немедленно исполнили данное Вам господином действительным тайным советником графом Уваровым, предварительно одобренное Его Императорским Величеством, циркулярное предписание о славянофилах» (*Веселовский К.С.* Отголоски старой памяти // *Русская старина*. 1899. Т. 100. Октябрь. С. 11).

¹² По свидетельству А.В. Никитенко, «Шевырёв, некогда ухаживавший за Строгановым, теперь представил министру, как неблаговидно в данную минуту печатать Флетчера и как дурно делает Строганов, допуская это» (*Никитенко А.В.* Дневник. В 3 т. Т. 1. 1826–1857. М., 1955. С. 313).

ным оставаться безгласным исполнителем его направлений», подал в отставку и переехал в Петербург, «оставаясь отныне открытым врагом Уварова»¹³.

Гневом Строганова воспользовался М.А. Корф, бывший в то время членом Государственного совета. По свидетельству мемуариста, «М.А. Корфу очень хотелось увенчать свою счастливую служебную карьеру министерским портфелем»¹⁴. Вместе со Строгановым они решили нанести удар по министерству Уварова. Наиболее уязвимым местом Министерства просвещения всегда была находящаяся в его ведомстве цензура. Начавшаяся в феврале 1848 г. революция во Франции стала удобным поводом для того, чтобы представить русскую цензуру, а следовательно, и Министерство просвещения во главе с Уваровым не готовыми противостоять этой угрозе. Уже в феврале Строганов подал царю «Записку о либерализме, коммунизме и социализме, господствующих в цензуре и во всём Министерстве народного просвещения»¹⁵. Корф «набросал несколько мыслей о действиях периодических изданий и цензуры»¹⁶ и через наследника престола также подал записку Николаю I. Царь распорядился создать комитет, «чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы». Над министерством Уварова нависла реальная угроза.

Комитет был образован 2 апреля¹⁷, возглавил его директор Публичной библиотеки, военный историк и генерал Д.П. Бутурлин, понимавший свою миссию широко и смотревший на себя как на человека, призванного возглавить «крестовый поход против науки»¹⁸. В обществе стали распространяться слухи о том, что он предлагает закрыть университеты¹⁹. Уваров был вынужден защищаться.

В марте в «Современнике» увидела свет статья бывшего профессора Московского университета И.И. Давыдова «О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании». Давыдов не был самостоятельной фигурой. Все хорошо знали, что за ним стоял Уваров²⁰. Из этого следовало, что статья направлена непосредственно против Бутурлина, чьё имя, разумеется, не называлось. Статья выдержана в казённо-патриотическом духе противопоставления Запада и России. На Западе люди больны страстью к преобразованиям, пренебрежением к преданиям, для них «не существуют ни вера, ни закон, ни права, ни обязанности: они пользуются смутами, в чад властолюбия и своекорыстия». На «православной и боголюбимой» Руси всё наоборот. Русские благоговеют перед Провидением, они преданы государю и любят Россию – могущественную державу, «какой не было в мире историческом». Поэтому им остаётся в «благодарственном умилении к подателю всех благ и самодержцу... только наслаждаться этими благами»²¹. Любые нововведения, особенно питае-

¹³ Веселовский К.С. Указ. соч. С. 11.

¹⁴ Там же. С. 10.

¹⁵ Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 9. СПб., 1895. С. 281.

¹⁶ Корф М.А. Записки. М., 2003. С. 428.

¹⁷ Веселовский К.С. Указ. соч. С. 11–12; Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 192–194.

¹⁸ Никитенко А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 326.

¹⁹ Там же. С. 312.

²⁰ Ср. запись от 16 января 1842 г. в дневнике Никитенко: «Профессор Давыдов в большой милости у Уварова. Он добился этого грубою лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребёнка» (Никитенко А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 243).

²¹ Современник. 1849. № 3. С. 37.

мые ложными понятиями, способны нанести вред этому великолепию. К числу таких нововведений автор статьи относил стремление закрыть университеты.

Русские университеты представлены в статье как явление глубоко национальное, находящееся под постоянной опекой государей, с момента их возникновения до настоящего времени. Причём каждый русский царь в своей заботе об университетах превосходил своих предшественников. В результате такой пристальной заботы русские университеты «не походят ни на один иностранный, всего менее на германские»²². Более того, они являются мощным оружием в борьбе с западными идеями, так как «передают юному поколению сокровища мудрости, освящённой любовью к вере и престолу»²³. Соответственно «порицатели университетов» являются проводниками вредных западных стремлений к преобразованиям и разрушителями национальных устоев.

Статья, как можно заметить, абсолютно демагогическая. Автор пытается бороться с врагом его же оружием. Но Бутурлина не так легко было сбить с толку. Он, правда, признал, что «статья сия по *внешнему её изложению* (здесь и далее курсив оригинала. — В.П.) не имеет ничего предосудительного... Но, если вникнуть во *внутренний её смысл*, то ясно, что здесь есть неуместное для частного лица вмешательство в дело правительства, и сверх того, под благовидною оболочкою сокрыта такая тайная мысль, выражения которой отнюдь не надлежало допускать в печати»²⁴. С соответствующими комментариями Бутурлин представил статью Давыдова Николаю I. Тот распорядился: «Знать, как сие могло быть пропущено?»²⁵

Несмотря на то что царь однозначно поддержал Бутурлина, Уваров решил не сдаваться и направил ему встречную жалобу. В ней он весьма определённо отделил слухи о закрытии университетов от подлинной воли царя, так как «Ваше императорское величество не изволили изъявлять мне августейшей мысли об уничтожении или преобразовании наших высших учебных учреждений». Более того, распространяемые слухи Уваров трактует в антиправительственном духе, как направленные «против общей системы народного образования, принятой русским правительством со времён Петра Великого». Далее он пишет: «Статья в “Современнике” была представлена мне и мною одобрена. Если за неё кто-либо должен подлежать ответственности, то эта ответственность по совести и закону должна единственно пасть на меня». Свою готовность нести ответственность Уваров противопоставляет безответственности комитета Бутурлина, наделённого неограниченными полномочиями. Для устранения этого несоответствия министр просвещения предлагает царю вывести из его подчинения цензуру и переподчинить её Бутурлинскому комитету: «Таким образом и соответственно с требованием времени, власть, наблюдающая за ходом периодической литературы, будет и давать ей направление, и непосредственно отвечать за собственные свои распоряжения»²⁶. Жалоба Уварова на действия Бутурлинского комитета вызвала колоритную резолюцию Николая: «Должно *повиноваться*, а рассуждения свои держать *про себя*. Объявить цензорам, чтобы впредь подобного не пропускали, а в случаях недоумений спрашивали разрешений»²⁷.

²² Там же. С. 44.

²³ Там же. С. 46.

²⁴ Лемке М.К. Указ. соч. С. 227.

²⁵ Там же. С. 228.

²⁶ Там же. С. 232.

²⁷ Там же. С. 233.

В апреле 1849 г. Московский университет посетил член Государственного совета Д.Н. Блудов. Журнал «Москвитянин» откликнулся на это событие заметкой «Почётный гость на лекциях университета», в которой, в частности, говорилось: «Во время, когда праздные люди толкуют о каком-то преобразовании университетов, и становится необходимым стать за них во имя просвещения, членам Московского университета приятно видеть, что государственные сановники, успевшие в жизни своей соединить постоянную веру началам русским с высокою степенью европейского просвещения, обнаруживают к университетам самое искреннее участие и смотрят на них, как на верные рассадники русского просвещения»²⁸.

Эта заметка вызвала очередной донос Бутурлина: «Усматривая из сего, что вопреки удостоенному Высочайшего утверждения заключению комитета 2 апреля 1848 г., в повременных изданиях наших всё ещё продолжают подобные прежним толки насчёт университетов, комитет не мог не остановиться особенно на употреблённой в помянутой статье фразе “становится *необходимым* стать за университеты во имя просвещения”, фразе неуместной, если автор намекает ею на частных людей, как не имеющих у нас голоса в деле общественных преобразований, и более нежели дерзкой, если он хотел намекнуть сим на преднамерения правительства». Резолюция Николая последовала весьма определённая: «Министру народного просвещения подтвердить, что я решительно *запрещаю* все подобные статьи в журналах *за и против* университетов»²⁹.

В литературе можно встретить мнение, что статья Давыдова послужила причиной отставки Уварова, и что последний выглядит во всей этой истории как защитник университетского образования от мракобесия Бутурлинского комитета³⁰. Такая точка зрения значительно упрощает картину. Борьба между Уваровым и Бутурлиным велась не за и против университетов, а за влияние на царя. С момента появления на свет Бутурлинского комитета Уваров по личному распоряжению царя начал работать над новым цензурным уставом. В содержательном плане проект нового устава, представленный для утверждения в Государственный совет в начале 1849 г., т.е. ещё до «университетской истории», полностью соответствовал духу Бутурлинского комитета. Необходимость его принятия мотивировалась тем, что действующий устав 1828 г. даёт излишнюю свободу сочинителям и стесняет цензоров. По новому правилу цензура должна обращать внимание не только «на *видимую* цель и *явный* смысл речи», но и на «цель и определительный смысл речи», т.е. не только на то, что говорит автор, но и на то, что, с точки зрения цензора, он хочет этим сказать. Право издавать журналы должно принадлежать «только человеку, известному на поприще словесности, показавшему сочинениями хороший образ мыслей и благонамеренность»³¹.

Может показаться странным, что Бутурлин выступил яростным противником проекта Уварова и в конечном итоге добился его провала в Государственном совете. М.К. Лемке справедливо пишет: «Комитет 2 апреля прекрасно понимал, что проект был покушением на его дальнейшее существование,

²⁸ Москвитянин. 1849. № 7. С. 107.

²⁹ Лемке М.К. Указ. соч. С. 234; Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 10. С. 145–146.

³⁰ См., например: Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 266–267.

³¹ Лемке М.К. Указ. соч. С. 240–241; Проект цензурного устава, внесённый в Государственный совет гр. Уваровым в 1849 г. и неодобренный советом. СПб., 1862.

и потому приложил старания получить его на предварительное собственное рассмотрение»³². Однако исследователь не поясняет, в чём, собственно говоря, состояло это покушение. Дело в том, что при существующем порядке вещей цензоры руководствовались уставом 1828 г., а Комитет – собственными соображениями о благонадёжности печати. Цензоры думали, что с ними играют по известным им правилам, а с ним играли вообще без правил. В конечном счёте благонадёжность печатаемых произведений определялась не положениями цезурного ведомства, а мнением Бутурлинского комитета, предсказать которое было невозможно. Нехитрый расчёт Бутурлина состоял в том, что, коль скоро его комитет борется с крамоллой в цензуре, то крамола должна существовать хотя бы для того, чтобы оправдать деятельность комитета. Таким образом, цензоры как бы априорно признавались крамольниками. Они были полностью дезориентированы в своей деятельности. «Такой ужас, – писал Никитенко, – навёл на цензоров Бутурлин с братией, то есть с Корфом и Дегаем»³³. В случае разногласия последнее слово, естественно, оставалось за комитетом.

Уваров же предлагал, ужесточив цензурный устав, расширить права цензоров в плане трактовки тех или иных мест в цензурируемых текстах. Именно это положение вызвало недовольство Бутурлинского комитета, взявшего под защиту устав 1828 г. и выдвинувшего против Уварова обвинение в излишних стеснениях печати, необоснованном желании репрессий и т.д. Противники как бы поменялись оружием. Теперь Уваров выступил в роли мракобеса и реакционера, а Бутурлин в роли «либерала». Пока уваровский проект рассматривался в Государственном совете, Бутурлин умер, однако проект был провален большинством голосов, получившим одобрение царя. После этого поражения Уварову ничего не оставалось, как подать в отставку с поста министра просвещения. Смерть Бутурлина и отставка Уварова несколько разрядили атмосферу вокруг университетов. Уже в следующем году «Московские университетские известия» сообщали о начале подготовки к университетскому юбилею в 1855 г.

В то время Московский университет находился в состоянии глубокого раскола. Профессора были поделены на две партии, одну из которых С.М. Соловьёв назвал в своих Записках «строгановской», а другую – «уваровской». С.Г. Строганов, считавший себя аристократом, презирал выскочку Уварова и был склонен к фрондёрству. Он открыто покровительствовал профессорам западнической ориентации и третировал сторонников Уварова, среди которых выделялись И.И. Давыдов, С.П. Шевырёв, М.П. Погодин. Разногласия между этой группой, с одной стороны, и Т.Н. Грановским, К.Д. Кавелиным, П.Г. Редкиным, С.М. Соловьёвым и др. – с другой, объяснялись не только расхождением в научном и идейном плане, но и затрагивали само представление о роли и назначении университетов. Было бы соблазнительным противопоставить эти партии по их отношению к проблеме университетской автономии и представить «уваровцев» как её противников, а «строгановцев» – как сторонников. Однако такое противопоставление не получило бы подтверждения в источниках. Проблема автономии для университетов стала актуальной в более позднюю эпоху, когда полностью сформировалось корпоративное самосознание российской профессуры. В 1840-х гг. оно ещё находилось в процессе становления, и сама идея внешнего управления университетом не встречала серьёзных возражений. Неприятие вызывали лишь конкретные чиновники, вмешивающиеся

³² Лемке М.К. Указ. соч. С. 241.

³³ Никитенко А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 326.

в дела университетской профессуры. Сами же профессора 1830–1840-х гг. даже в лице своих лучших представителей Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, С.М. Соловьёва и др. своим положением были обязаны усилиям правительства и хорошо это понимали. Более того, если взять Шевырёва и Грановского, двух наиболее ярких представителей противоположных партий, то окажется, что Шевырёв биографически более связан с уставом 1804 г., а Грановский – с уставом 1835 г., открывшим перед ним возможность занять место на кафедре и пройти заграничную стажировку. При этом считается, что устав 1804 г. дал университетам автономию, а устав 1835 г. их её лишил. Кроме того, личные отношения Грановского с Уваровым были вполне доверительными, а его отношение к Строганову резко ухудшилось после доноса последнего на Уварова. Другое дело, что Грановский, стремясь к независимости, свою преподавательскую деятельность понимал как служение обществу путём распространения в нём научных знаний, в то время как Шевырёв саму идею просвещения связывал в первую очередь с правительством и в русских университетах видел средство, при помощи которого правительство «образует» подданных в нужном ему духе.

Собственно говоря, просветительская роль русских царей не отрицалась никем. Ещё Пушкин писал, что «le gouvernement est encore le seul [en] Européen de la Russie» (*франц.*)³⁴, понимая «европеизм» как синоним «просвещения». С этим отчасти был согласен и противник Шевырёва С.М. Соловьёв, когда писал: «Начиная с Петра до Николая, *просвещение* народа было целью правительства». Правда, по мнению Соловьёва, это просвещение понималось царями односторонне: «Им нужно было просвещение для материальных успехов, для материальной силы»³⁵. Но у Николая I не было даже этой односторонности. При нём «просвещение перестало быть заслугой, стало преступлением в глазах правительства, университеты подверглись опале»³⁶. Профессора-западники смотрели на чиновников если не как на врагов университетов, то, во всяком случае, как на чужеродную им силу, а для Шевырёва и его единомышленников университеты полностью принадлежали правительству, и их полезность определялась способностью выполнять правительственную волю. Эти представления легли в основу его концепции юбилейной истории Московского университета.

Юбилей всегда предполагает определённую стилистику, выделяющую юбиляра, в данном случае Московский университет, на фоне повседневной жизни. Текучести повседневности противопоставляется неподвижность юбилейного события. Вереница сменяющих друг друга в непрерывном беге годов спрессовывается в одну юбилейную дату. Вместо 100 лет – одно столетие. Вместо множества часто несводимых друг к другу событий – одно крупное и упрощённое событие, являющее некий центр, в который сводится всё то, что было, и всё то, что будет. При этом между прошлым и будущим устанавливаются симметричные отношения: славной истории соответствует прекрасное будущее.

Высочайшая грамота, полученная университетом в день его торжества, чётко сформулировала роль университета как «рассадника русского православ-

³⁴ «Правительство всё ещё единственный европеец в России» (*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 16. Переписка 1835–1837. М., 1949. С. 261).

³⁵ *Соловьёв С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 310.

³⁶ Там же. С. 311.

ного просвещения к славе и пользе нашей возлюбленной России»³⁷. Царская грамота была воспринята воодушевлённой публикой как «венеч совершившемуся столетию и незыблемая основа наступающему»: «Тысячегласное ура долго не умолкало под сводами залы и дружно сливалось с громом нашего народного гимна»³⁸. Идеологема «православное просвещение», презентующая один из элементов официальной триады, дополнялась «народностью» в виде многократно повторяющегося в приветственных речах словосочетания «русское просвещение». И, наконец, главный элемент триады – «самодержавие» – отразился в представлении о царях как главных просветителях³⁹.

Идея религиозного просвещения получила развитие в речи Московского митрополита Филарета (Дроздова), представившего истину не как результат научных поисков, а как нечто неизменно существующее «прежде доказательств». Поэтому задача учёного заключается не в том, чтобы доказывать относительные истины применительно к отдельным отраслям знаний, а в том, чтобы раскрыть присутствие Божественной истины в природе, истории, эстетике⁴⁰.

Представляя столетнюю историю университета как «непрерывный ряд подвигов, исполненных с честью во имя новой исторической судьбы России», А.В. Никитенко объяснил эти успехи «живым союзом, связывающим университет с самодержавием, православием и народностью»⁴¹. Столетняя история как непрерывный ряд подвигов и побед открывала дверь ничем не сдерживаемому оптимизму: «Новому столетию предшествует прекрасная, благовествующая заря: она сияет надеждами в заслугах и дарованиях, составляющих нынешнее сословие университета – и мы, одушевлённые этим счастливым предзнаменованием, снова приветствуем и поздравляем его и с тем, что он уже совершил, и с тем, в совершение чего все мы питаем веру твёрдую и живую»⁴².

Разумеется, вся эта юбилейная стилистика была вполне предсказуемой. Юбилейные речи, как в данном случае речь Никитенко, обычно не отражали взгляды тех, кто их произносил, поэтому элемент случайности практически исключался. Однако с Шевырёвым дело обстояло значительно сложнее. На него как на заместителя председателя юбилейного комитета легла основная нагрузка по подготовке празднеств. По воспоминаниям М.П. Погодина, «Шевырёв один вынес юбилей на своих плечах, работая, как вол, в продолжении трёх лет»⁴³. В процессе подготовки Погодин внушал Шевырёву, что «университет должен показать себя европейским местом», и советовал «послать известия в Берлин, Вену, Прагу, Париж, Оксфорд»⁴⁴. Но для Шевырёва важнее было вписать Мос-

³⁷ Столетний юбилей Императорского Московского университета. М., 1855. С. 5. См. также: Цимбаев К.Н. Реконструкция прошлого и конструирование будущего в России XIX века: Опыт использования исторических юбилеев в политических целях // Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом. М., 2012. С. 490–491.

³⁸ Столетний юбилей Императорского Московского университета. С. 13.

³⁹ Там же. С. 27, 28.

⁴⁰ Там же. С. 17–22.

⁴¹ Многократное подчёркивание уваровской триады в университетских торжествах имело ещё дополнительный смысл, связанный с тем, что именно при инспекции Московского университета 4 декабря 1832 г. Уваров впервые сформулировал эту идеологию, призвав преподавателей руководствоваться «тёплой верой в истинно русские хранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог и величие нашего Отечества» (Уваров С.С. Указ. соч. С. 300).

⁴² Столетний юбилей Императорского Московского университета. С. 36.

⁴³ Погодин М.П. Воспоминание о Степане Петровиче Шевырёве. СПб., 1869. С. 28.

⁴⁴ Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 13. СПб., 1899. С. 315.

ковский университет в рамки правительственной идеологии и, соответственно, предстать и перед правительством, и перед университетским сообществом выразителем этой идеологии. Выступая с речью на торжественном собрании 12 января 1855 г., Шевырëв сжато изложил основную концепцию своей книги: «Вникая в происхождение светлого торжества нашего, мы видим в нём участие Промысла Божия, образующей воли государей наших и любви русского народа к просвещению»⁴⁵. Иными словами, в основании Московского университета лежат всё те же три неизменных принципа: самодержавие, православие, народность. И вся его история, таким образом, есть всего лишь последовательное развитие этих принципов. Идея времени, вносящая момент необратимости в любое историческое развитие, при этом исключалась.

Шевырëв далеко не формально относился к тому, что говорил. Об этом свидетельствует тот факт, что он был единственным, кто заговорил в своей юбилейной речи об идущей войне. Несоотносимость юбилейного события с реальным временем эпохи позволяла участникам торжества не касаться трагического положения, в котором находилась страна в преддверии тяжëлого поражения в Крымской войне. И в книге, и в речи Шевырëва война стала одной из сторон университетской истории. Но характерно то, что не военная реальность, стремительно приближающая страну к катастрофе, бросала трагический отблеск на юбилейные торжества, а, наоборот, университетский праздник окрашивал уже почти проигранную войну в торжественно-победоносные тона. Крымская война, как и вообще войны России против Запада, была представлена Шевырëвым как импульс для дальнейшего просвещения страны: «Вспомним годы 1612 и 1812. Это эпохи, от которых двинулось Русское просвещение... Настоящая война произведёт то же... Великое указание Божие осмелюсь извлечь из знаменательного стечения этих двух событий: столетия первенца русских университетов и грозы военной, поднятой на нас в то же самое время от Запада»⁴⁶.

На торжественном обеде Шевырëв, произнося тост за здоровье присутствующего министра просвещения А.С. Норова, ветерана Отечественной войны 1812 года, потерявшего ногу под Бородино, отнёс к числу «знамений дивных» тот факт, что «в такое время и в день столетнего торжества Московского университета, в министре народного просвещения видится нам инвалид Бородинской битвы». И далее от имени профессоров, обращаясь к Норову, он сказал: «Да, уверьте государя, что... в нас ему готова армия духовная, снаряжённая его же монаршими заботами об университете, воинство мыслящее, которое сумеет постоять против Запада за святыне начала нашего Отечества»⁴⁷.

Юбилейная победоносная риторика подкреплялась присутствием на торжествах большого числа военных чинов: военного генерал-губернатора А.А. Закревского, генерала от артиллерии А.П. Ермолова, генерала от инфантерии С.П. Шипова, начальника штаба военных учебных заведений Я.И. Ростовцева. По причине нехватки мест не все университетские профессора были приглашены на торжества. В их числе оказался один из старейших профессоров, хранитель ценнейших документов по университетской истории, кстати, использованных Шевырëвым, И.М. Снегирëв. В своём дневнике он с горечью писал: «Служившему в университете 45 лет непрерывно и усердно, доставившему материалы для истории его, мне не прислали приглашения на юбилей

⁴⁵ Столетний юбилей Императорского Московского университета. С. 55.

⁴⁶ Там же. С. 71.

⁴⁷ Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 13. С. 347.

по влиянию пристрастного и вероломного Назимова... Этот праздник не есть ли похоронный для университета Московского?». Первый публикатор этого дневника и живой свидетель университетских торжеств П.И. Бартенев сделал к этому месту примечание: «Не получили приглашения и лица, работавшие для юбилейных изданий Московского университета, в числе их пишущий эти строки; множество билетов на торжественный обед роздано людям военным»⁴⁸. Из-за недостатка времени, ушедшего на формальные поздравления, не прозвучали речи, посвящённые тем, кто стоял у истоков Московского университета. С речью о И.И. Шувалове не выступил С.М. Соловьёв, а с речью о М.В. Ломоносове – М.П. Погодин. Юбилей университета украли у людей университета и превратили его в подчёркнуто государственный праздник чиновничества. Сделано это было при самом активном участии Шевырёва. Его «История» написана в духе той же казённо-государственной риторики, окрасившей столетний юбилей Московского университета.

Подобно Н.М. Карамзину, утверждавшему, что «история народа принадлежит царю»⁴⁹, Шевырёв, также посвящая историю университета монарху, делит её «по периодам царствований: 1) императрицы Елизаветы Петровны и Петра III Фёдоровича, 2) императрицы Екатерины II Алексеевны, 3) императора Павла Петровича, 4) императора Александра Павловича и 5) благословенно царствующего императора Николая Павловича»⁵⁰. При этом саму идею университетского образования, как одного из каналов просвещения народа правительством, Шевырёв относит ещё к допетровской Руси, государи которой якобы «давно питали мысль передать России сокровища наук и искусств»⁵¹. Имплицитно присутствовала и более глубокая связь истории университетского образования с Крещением Руси и даже изобретением славянской письменности. Как пишет Е.А. Вишленкова, предполагалось «соединить университетское торжество с празднованием 1000-летия “Изобретения церковных славянских писмен, которое совершилось в 855 году”». Таким образом, университетская история представляла бы завершением духовного просвещения Руси–России. И, поскольку в рамках такой концепции профессора являлись прямыми продолжателями дела христианских просветителей, юбилейные издания предлагалось обогатить “историей славяно-русских писмен” и “жизнеописанием св. первоучителей славянской грамоты Кирилла и Мефодия”»⁵².

В итоге, отказавшись от столь длинной предыстории, Шевырёв ограничился подчёркиванием роли Петра I в университетской истории России. Начало русских университетов автор возводит к проекту Академии наук, утверждённому Петром I 22 января 1724 г.⁵³, где давалось определение университету и подчёркивалось его отличие от Академии наук. И хотя на ранних этапах слияние университета и академии в пределах одной многоступенчатой структуры признавалось вынужденным, в перспективе университет должен был отделиться и обрести самостоятельность. Шевырёв подчёркивает значимость того, что

⁴⁸ *Снегирёв И.М.* Дневник. Т. 2. М., 1905. С. 33. Ср. с письмом Н.Т. Грановского: «Множество съехавшихся с разных концов России бывших студентов университета не нашли места и праздновали день юбилея по трактирам» (Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 436).

⁴⁹ *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Кн. 1. М., 1988. С. VIII.

⁵⁰ *Шевырёв С.П.* История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. VIII.

⁵¹ Там же. С. 4.

⁵² *Вишленкова Е.А.* Указ. соч. С. 298.

⁵³ У Шевырёва ошибочно указано 28 января.

Московский университет был открыт при Елизавете Петровне. Дочь Петра Великого исполнила его «последнюю мысль». Описывается это событие в национально-победоносной риторике: «Пётр Великий торжествовал в Москве свою Полтавскую победу в то время, когда к нему пришла весть о рождении любимой его дочери. Русская красавица на русском престоле сияла прелестью кротости. Она продолжала все начинания своего родителя; при ней с новою силою пробудился русский дух, после временного стеснения. При ней заговорил стихами Ломоносова русский язык. Певец вложил в уста императрице те слова, которыми хотел изобразить ее душу: И воля, данная мне свыше, // В уста прошение, в сердце Бог!

Елисавета уничтожила в России смертную казнь. Елисавета основала Московский университет»⁵⁴.

Здесь риторически выстраивается представление о Московском университете как о некоем средоточии русской истории. Военная и политическая мощь России, представленная именем Петра I и торжеством Полтавской победы, женское начало, воплощённое в Елизавете и дополняющее материальную силу России красотой, кротостью и милосердием, соединяются в понятии «русский дух», пронизывающий дела Петра, потом испытывающий стеснения во время Анны Иоанновны и, наконец, с новой силой пробуждённый при Елизавете. Такие понятия, как «русский престол», «русская красавица», «русский дух», дополняются понятием «русский язык», заговоривший стихами Ломоносова. Всё это в завершающей фразе сливается в понятие «Московский университет». Соединение в анафорическом повторении имени Елизаветы в двух заключительных предложениях должно убедить читателя, в первую очередь Николая I, что просветительская роль русских царей важнее их карающей функции.

Когда же Шевырёв от риторики переходит собственно к изложению истории университета, он следует несколько иной логике, чем заявлена в начале его труда. Внутренняя история университетской корпорации в его изложении естественным образом разделяется не на пять, а на три больших периода, границами между которыми являются университетские уставы. Первый период – с основания университета до принятия устава 5 ноября 1804 г.; второй – от устава 5 ноября 1804 г. до 26 июня 1835 г.; третий – от устава 1835 г. до столетнего юбилея. Каждый из этих периодов описывается особым нарративом. Но ещё более значимой является периодизация, на которую обратила внимание Е.А. Вишленкова, предположив, что речь идёт «о двух разных институтах... о Московском университете XVIII века (“допожарном”) и об императорском университете в Москве первой половины XIX века»⁵⁵. Действительно, первые полвека существования Московского университета описаны Шевырёвым так, как вообще пишется история: по источникам и без опоры на собственные воспоминания, хотя и с привлечением устных свидетельств. Несомненно, Шевырёв, помимо сугубо научных моментов, руководствовался политическими соображениями. Однако с эпохи Екатерины II и тем более Елизаветы Петровны в конце николаевского царствования были сняты те ограничения, которые накладывались на них актуальной политической ситуацией. Это позволяло строить исторический нарратив не только как линейный, но и как конфликтный. Само движение вперёд университетского просвещения показывается Шевырёвым как трудное преодоление многих недостатков, столкновение личных

⁵⁴ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 7.

⁵⁵ Вишленкова Е.А. Указ. соч. С. 299.

честолюбий и корпоративных интересов. Поэтому в шевырёвском описании первого периода Московского университета присутствуют драматизм и динамика. С московской профессурой XVIII в. Шевырёв совпадает в пространстве и расходится во времени. Это даёт возможность сочетать внутреннюю точку зрения, с которой описывается *свой* мир, и внешнюю, *остраннённую*, точку зрения, представляющую этот мир как *чужой* и «экзотический».

Шевырёв показывает непрерывную традицию, связывающую первых профессоров Московского университета и современную профессуру. В частности, он останавливается на наиболее близком к нему в профессиональном отношении профессоре русской словесности Н.Н. Поповском, прямом ученике Ломоносова. В этом смысле кафедра российской словесности, возглавляемая Шевырёвым, «ведёт своё начало от самого Ломоносова, как его (Поповского. – В.П.) наставника»⁵⁶. С Поповским и его коллегой А.А. Барсовым, профессором математики, а затем и русской словесности, связана важная для Шевырёва идея русификации университета.

Идея непрерывности университетских традиций у Шевырёва дополняется бытовыми подробностями, значительно усложняющими официальную историю университета. Так, например, вскользь упомянуто, что «Поповский и Дильтей оставили по себе также печальную память предания»⁵⁷. Здесь содержится намёк на пьянство Поповского и на его попытку представить И.И. Шувалову пьяницами других профессоров⁵⁸. При этом сам же Шевырёв со ссылкой на Ф.И. Миллера отрицает истинность этого предания. Ф.Г. Дильтей показан Шевырёвым также неоднозначно. С одной стороны, подчёркиваются его заслуги как основателя юридического факультета, на котором он «один... преподавал все науки»⁵⁹, при этом первым из иностранных профессоров выучил русский язык. В последнем обстоятельстве Шевырёв склонен усматривать славянское происхождение Дильтея. Но, с другой стороны, он, как и многие его коллеги, вынужден был прогуливать занятия: у профессоров в XVIII в. была большая нагрузка (до шести часов в день) при низком жалованье (до 200 руб., что всего вдвое превышало жалованье казённокоштного студента). Поэтому они вынуждены были давать частные уроки, видимо, хорошо оплачиваемые, так как, по сведениям Шевырёва, «некоторые из профессоров частными уроками довольно скоро нажили себе состояние»⁶⁰. Среди этих профессоров Шевырёв называет и Дильтея, который, получая с каждого ученика по 12 руб. в год за каждый предмет, имел свой дом на Козьем Болоте, что по тем временам являлось роскошью, так как профессора в основном жили на казённых квартирах. Частные уроки «отвлекали его часто от публичных лекций: он справедливо подвергся нареканию от товарищей в нехождении на лекции и должен был выдержать процесс с университетом»⁶¹. В эту историю вмешался Сенат, куда Дильтей подал встречную жалобу. Процесс длился весь 1765 г. и закончился «Высочайшим указом, подписанным собственною Её императорского величества рукою, которым повелено принять Дильтея снова в число профессоров»⁶².

⁵⁶ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 31.

⁵⁷ Там же. С. 64.

⁵⁸ Там же. С. 79.

⁵⁹ Там же. С. 33.

⁶⁰ Там же. С. 63.

⁶¹ Там же.

⁶² Там же. С. 133.

На примере этой и ряда других подобных историй Шевырёв показывает, какими сложными путями шло формирование профессорской корпорации и в какой степени её представители в своих внутренних разногласиях зависели от правительства. При этом вмешательство самой Екатерины II в частное, казалось бы, дело трудовой дисциплины свидетельствует, в глазах Шевырёва, о высокой заинтересованности правительства в деятельности университета.

Юбилейный характер истории, разумеется, не предполагал освещение конфликтов университетских людей и правительства. Но случай Н.И. Новикова был настолько ярким, что даже такой осторожный историк, как Шевырёв, не мог обойти его молчанием. Конечно, к 1850-м гг. дело Новикова утратило уже политическую актуальность, но тем не менее рассказ о его конфликте с Екатериной II и заточении в крепость мог вызвать нежелательные ассоциации у Высочайшего читателя. Поэтому Шевырёв не только опустил все политические моменты новиковской истории, но и свёл всё дело к незначительному недоразумению по религиозным вопросам. Деятельность Новикова и близкого к нему профессора И.Е. Шварца для Шевырёва составляет предмет устной истории. Новиковский кружок хорошо был ему известен по рассказам А.А. Прокоповича-Антонского, директора Благородного пансиона, в котором учился Шевырёв, а с 1818 г. – ректора университета. Прокопович-Антонский учился в университете в 1782–1784 гг., когда во главе университетской типографии стоял Н.И. Новиков, а его масонский кружок вёл широкую просветительскую и благотворительную деятельность. Один из наиболее активных членов этого кружка И.Е. Шварц был непосредственным учителем Прокоповича-Антонского. Масонская мистика, видимо, не очень привлекала последнего, но идеи нравственного самосовершенствования, практической филантропии, преобладающей роли воспитания в общей системе образования и т.д. – всё это сохранялось в педагогической теории и практике директора пансиона.

В изложении Шевырёва Новиков «подвергся клевете и следствию; но был оправдан в убеждениях своим мнением самого преосвященного Платона»⁶³. В примечании приводятся слова митрополита: «Молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и тобою, всемилостивейшая государыня, мне вверенной, но и во всём мире были христиане таковые, как Новиков»⁶⁴. Таким образом Новиков оказался оправданным не Павлом I, при котором он был выпущен из крепости, а Платоном, вопреки мнению которого он туда попал по личному распоряжению Екатерины II. Последовательно проводя идею о царях как просветителях, постоянно заботящихся об университете, Шевырёв сознательно устранил из своей «Истории» всё, что не соответствовало этой концепции.

Начиная с эпохи Александра I история Московского университета тесно переплеталась с биографией его первого историка, особенно это касается последних 13 лет царствования: от московского пожара до смерти царя в 1825 г. При Александре I университет преобразился дважды: внутренне и внешне. Внутренние преобразования были связаны с принятием Университетского устава 1804 г. Одно из положений этого устава Шевырёв непосредственно связывал со своей судьбой. Речь шла о § 26, где говорилось: «Ежели между природными россиянами найдутся молодые люди в какой-либо науке толико успевающие, что представленными печатными или рукописными сочинениями и чтением

⁶³ Там же. С. 263.

⁶⁴ Там же. С. 279.

о заданном предмете лекций удостоверяют, что с пользою университета могут занять место адъюнкта, в таком случае приобщить их к университету дозволяется». Приведя это место, Шевырёв продолжает: «Пишущий эту историю не может привести этой статьи без особенного чувства благодарности к той руке, которая её начертала: ибо он, воспитанный в училище, не дававшем учёных степеней, единственно этому параграфу Устава обязан честью и счастьем служить в Московском университете»⁶⁵.

Внешние преобразования были вызваны московским пожаром 1812 г., уничтожившим университет. Сожалея об истреблении университетской библиотеки (20 тыс. книг), оборудования и редчайшего Музея естественной истории, Шевырёв, ссылаясь на «устное предание», пишет, что всё это можно было спасти: «главнокомандующий прислал 200 подвод под университет»⁶⁶, но, к сожалению, ими не воспользовались. Однако дальше живая история, сохранённая в устных источниках, уступает место казённому патриотизму, характерному для главной концепции книги: «Древняя столица была жертвою искупления России в священной брани за Отечество. Университет принёс также часть свою в этой великой жертве»⁶⁷. Возрождение университета связывается не только со строительством новых зданий, но и с посещением университета царём: «18-го авг[уста] 1816 г. император Александр Павлович вторично оживил университет своим присутствием»⁶⁸.

Описывая университетскую жизнь конца 1810-х – первой половины 1820-х гг., Шевырёв очень осторожно пользуется своей памятью. Он даёт яркие характеристики своим учителям, например А.Ф. Мерзлякову, М.Г. Павлову, И.И. Давыдову, но при этом умалчивает о том влиянии, какое их лекции имели на общество Любомудров (куда входил и сам Шевырёв), состоявшее из студентов Московского университета. Лидер этого кружка рано умерший Д.В. Вневитинов не упоминается в числе выдающихся студентов университета. Почти ничего не говорится о сильном увлечении Шеллингом среди профессоров и студентов.

Либеральные увлечения юности, философские искания свободы, как и вольнолюбивый дух московского студенчества, – всё это не является для позднего Шевырёва историческими фактами. Более того, по мере приближения истории университета к современности они полностью уступают место мёртвым циркулярам, распоряжениям и т.д., где отражены «те три основные начала, которыми они (попечители университетов. – *В.П.*) должны руководствоваться: начала православия, самодержавия и народности»⁶⁹. В соответствии с этим весь последний период университетской истории представлен Шевырёвым как отчёт о непрерывных успехах и достижениях, являющихся прямым следствием «неусыпного попечения правительства»⁷⁰. В этом смысле важный рубеж в истории российских университетов – Устав 26 июля 1835 г. Однако Шевырёв не даёт никаких оценок, понимая, как опасно даже с похвалой отзываться о действиях правительства. Он ограничился тем, что обратил внимание на значительное улучшение материальной базы: увеличилось число профессоров, их оклады выросли в два с половиной раза, оклады адъюнктов – в четыре раза, увеличены

⁶⁵ Там же. С. 358.

⁶⁶ Там же. С. 414.

⁶⁷ Там же. С. 415.

⁶⁸ Там же. С. 430.

⁶⁹ Там же. С. 480–481.

⁷⁰ Там же. С. 494.

расходы на библиотеку в десять раз и т.д.⁷¹ Кроме того за молодыми учёными сохранилось право заграничных командировок.

Обратная сторона этого процесса – подчинение университетской корпорации государственным структурам, порождающее почву для конфликтов не только между университетской профессурой и чиновниками, но и между самими профессорами, – разумеется, не могла найти отражение на страницах официальной истории университета. Но для Шевырёва это и не было историческим явлением. Сам он вполне осознанно стоял в стороне от государственной концепции университета, что определяло не только его позицию как историка, но и поведение внутри университетского сообщества.

Так, в 1851 г. Шевырёв через попечителя Московского университета В.И. Назимова добился для себя должности заведующего кафедрой педагогики, при этом сохранив за собой заведование кафедрой словесности. По мнению профессоров, заведовать педагогической кафедрой должен был М.Н. Катков, только что лишившийся кафедры философии. Новый министр просвещения П.А. Ширинский-Шихматов, считавший, что «польза философии не доказана, а вред от неё возможен»⁷², закрыл в университетах философские кафедры, и Катков потерял место. Шевырёв, перешедший таким образом дорогу Каткову, вызвал, по словам С.М. Соловьёва, «страшную ненависть в нашем кружке». Тут как раз подошло время деканских выборов. «Шевырёв, – продолжает Соловьёв, – был забаллотирован, и в деканы прошёл Грановский». Но поскольку в глазах начальства он был «человек подозрительный, либерал известный», то распоряжением Ширинского-Шихматова деканом был назначен проигравший выборы Шевырёв. «Ненависть к казённому декану, – заключает Соловьёв, – стала ещё сильнее»⁷³.

Иначе эту историю рассказывает М.П. Погодин: «Противники не выбрали Шевырёва деканом в 1851, кажется, году, а выбрали Грановского. Министр не утвердил выбора, и попечитель по своим причинам просил Шевырёва принять опять эту тяжёлую обязанность. Шевырёв имел неосторожность согласиться к совершенному неудовольствию почти всего факультета. Смею сказать, что я предвидел нехорошие следствия и всеми силами старался отговорить Шевырёва от деканства». Сам факт назначения начальством Шевырёва у Погодина не вызывает осуждения. Он пытался отговорить его, руководствуясь не профессиональной этикой, а индивидуальными особенностями самого Шевырёва: «С возбуждёнными всегда нервами вследствие усиленных и разнообразных занятий, он делался, может быть, иногда неприятным или даже тяжёлым, вследствие своей взыскательности, требовательности, запальчивости и невозддержанности на языке»⁷⁴. В таком состоянии Шевырёв постоянно конфликтовал с коллегами и студентами, и его согласие стать деканом послужило не причиной, а лишь внешним поводом для устроенной ему обструкции.

Если же постараться взглянуть на эту ситуацию взглядом, свободным от предвзятых суждений заинтересованных сторон, то картина окажется такой. У Шевырёва закончился срок деканства, и он не был выбран вновь. Выбранного Грановского не утвердило министерство, что вполне соответствовало действующему уставу. Поскольку место декана осталось вакантным, то Шевырёву как бывшему декану было предложено занять эту вакансию. Формально всё

⁷¹ Там же. С. 489.

⁷² Никитенко А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 334.

⁷³ Соловьёв С.М. Указ. соч. С. 326.

⁷⁴ Погодин М.П. Воспоминания о Степане Петровиче Шевырёве. С. 27.

было в рамках действующего законодательства. Но формирующаяся профессорская корпорация всё болезненнее воспринимала внешнее вмешательство в свои дела. Вопросы университетской автономии ещё не стояли на повестке дня, но европейски мыслящая русская профессура, хорошо знакомая с обычаями западных университетов, отчетливее начинала осознавать свою корпоративную солидарность и жёстче требовала от своих коллег подчинения неписаным правилам, действующим в их среде.

Разумеется, скандальная история с деканством Шевырёва не могла найти места в официальной истории Московского университета, но память о ней накануне столетнего юбилея была ещё свежа. И Шевырёв с явным намерением процитировал в своей книге Высочайшее постановление 11 октября 1849 г., по которому «предоставлено министру право назначать декана из профессоров факультета и независимо от университетских выборов»⁷⁵. Этим постановлением он как бы подчёркивал легитимность своего деканства и вместе с тем противопоставлял себя университетской корпорации.

Официозность шевырёвской «Истории» нарастает по мере приближения к столетнему юбилею. Что касается раннего этапа в существовании Московского университета, то здесь автор проявляет большую свободу в плане фиксирования исторических фактов. Но в любом случае весь материал спаян жёсткой концепцией государственности: «Московский университет, основанный императрицею Елисаветою и ущедрённый своею основательницею, является в царствование Екатерины II уже государственным учреждением, глубоко пустившим корни свои в жизнь народа и действующим согласно намерениям правительства, в неутомимом стремлении его к образованию Отечества»⁷⁶.

Идея государственности понимается Шевырёвым не только в плане постоянной опеки университета властями, но и как альтернатива частному образованию. Основная задача университета с момента его существования – «приведение воспитания в России к государственному единству»⁷⁷. Уже при учреждении университета «правительство озабочено было тем вредом, который происходил в домашнем воспитании от легковерия невежественных родителей, принимавших к себе в дом всякого иностранца, иногда лакея, парикмахера или другого какого ремесленника, в воспитатели детей»⁷⁸.

В николаевскую эпоху, по мнению Шевырёва, для государства по-прежнему было актуальным противостоять домашнему обучению, и университету в этой борьбе отводилась решающая роль как выразителю правительственной политики. Речь шла о том, чтобы изъять, как это ни парадоксально, домашнее воспитание из семейной сферы и придать ему государственный характер. Шевырёв упоминает правительственный указ от 25 марта 1834 г.⁷⁹, «которым строго воспрещено принимать в дома дворян, чиновников и купцов, – иностранцев обоюбого пола, не получивших аттестатов от университетов на учительские, наставнические или гувернёрские звания»⁸⁰. Благодаря указу домашний учитель обретал социально-правовой статус. Это положение можно назвать

⁷⁵ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 501.

⁷⁶ Там же. С. 104.

⁷⁷ Там же. С. 181.

⁷⁸ Там же. С. 37.

⁷⁹ Имеется в виду «Положение о домашних наставниках и учителях» (См.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. СПб., 1875).

⁸⁰ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 484.

эпохальным в истории домашнего образования в России. Раньше домашний учитель, лишённый чётко регламентированного социального статуса, мыслил себя неотъемлемой частью той семьи, в которой он служил. Практически он действительно являлся членом семьи, и его судьба не только на период воспитания ребенка, но часто по окончании определялась отношением к нему главы семейства, от которого полностью зависело и его материальное положение, и его профессиональная репутация. И уже в силу этого учитель был изъят из сферы правительственного воздействия. Теперь же домашние учителя составили особую социально-профессиональную группу. Это, с одной стороны, пусть в минимальной степени, но всё-таки защищало их от хозяйского произвола, а с другой стороны, приглашение учителей в дом приобретало всё менее случайный характер. Теперь учителем не мог назвать себя любой человек, как это было в XVIII и даже в начале XIX в. Таким образом, государство получало возможность определять направление домашнего воспитания.

На первый взгляд может показаться, что домашнее образование при Николае I вышло на качественно новый уровень развития. Но при ближайшем рассмотрении нельзя не обнаружить и определённые потери. Прежде всего упала престижность домашнего обучения. Оно перестало быть проявлением дворянской независимости перед лицом государственной власти. Если раньше дворянин сам решал, чему и как следует учить своего ребёнка⁸¹, и полностью был независим в этой сфере, то теперь каждый учитель имел определённый набор тех сведений, которые он должен был в обязательном порядке сообщить своему воспитаннику. Это объяснялось не только контролем над деятельностью домашних учителей со стороны государства, но и тем, что домашнее образование всё в меньшей степени имело самодостаточный характер и всё больше являлось подготовительной ступенью для дальнейшего университетского образования. Таким образом, цели и задачи домашнего воспитания постепенно унифицировались и приобретали обязательный характер. Домашняя педагогика становилась частью общегосударственной образовательной политики.

Поскольку семейное воспитание ребенка начиналось раньше, чем он попадал в сферу государственных учебных заведений, государство стремилось так или иначе присутствовать уже на этой ранней стадии. В итоге домашнее и государственное обучение, перестав быть альтернативой, образовали две ступени единого процесса. Наиболее чётко и полно эти мысли были изложены в программной речи Шевырёва, произнесённой в Московском университете 16 июня 1842 г. В ней оратор исходит из идеи семейственности как основы воспитания. Противопоставляя «человека внутреннего» «человеку внешнему», Шевырёв считает, что первый воспитывается в семье, а второй – в государственных учебных заведениях. Это два этапа единого образовательного процесса: «Государство в своих заведениях образует человека общественного, внешнего, – здесь, в невидимом лоне семьи, родится, растёт и зреет человек внутренний, цельный, дающий основу и ценность внешнему»⁸². Поскольку эти этапы тесно связаны между собой, домашнее воспитание должно быть подконтрольно государству. Русское слово «воспитание» Шевырёв противопоставляет немец-

⁸¹ Речь, разумеется, идёт не о том, что каждый дворянин составлял план обучения для своих детей и нанимал учителей для реализации этого плана. Каждый глава семьи волен был сам решать, стоит ли полностью довериться учителю, следует ли согласовать с ним план обучения или же прямо поставить задачу научить ребёнка тому-то и тому-то.

⁸² Шевырёв С.П. Об отношении семейного воспитания к государственному. М., 1942. С. 3.

кому «Erziehung», в котором он усматривает «понятие о каком-то насилии, производимом над человеком». В русском же слове «выражается самобытность человека, которую должно беречь в воспитании». «Я желал бы, – продолжает он, – чтобы между немецким и русским воспитанием было и на деле такое же различие, какое видно в словах “Erziehung” и “воспитание”. Там развитие более искусственное, здесь – естественное»⁸³.

Ратуя за «естественное» воспитание, Шевырёв понимает его далеко не в том смысле, как, например, Ж.-Ж. Руссо, автор знаменитого романа о воспитании «Эмиль». Руссоистской педагогической системе Шевырёв отказывает как раз в том, что сам Руссо считал основополагающим, – в естественности: «Эмиль Руссо есть образец искусственного, вымышленного воспитания»⁸⁴. Руссо, как известно, полагал, что только на лоне природы, вдали от общества человек может получить правильное воспитание, которое заключается прежде всего в способности видеть вещи в их истинном свете. Шевырёв же конечную цель воспитания видит в том, чтобы подготовить человека к служению «народу и государству»⁸⁵. Если руссоистская система не исключает возможности конфликта между разумной личностью и неразумно организованным обществом, то у Шевырёва речь явно идёт о лояльности подданного по отношению к правительству, следовательно, воспитание должно строиться не на теоретических представлениях об обществе, а на знании его конкретных нужд и потребностей. Больше всего Шевырёва возмущает в Руссо искусственность его педагогических построений. Считая, что семья это общество в миниатюре и поэтому несёт в себе весь тот груз предрассудков, который характерен для человеческого общества в целом, Руссо помещает своего Эмиля в условия полной изоляции. Он не только растёт вдали от городской жизни, но он ещё и сирота, которому идеальный воспитатель заменяет и отца, и мать. Шевырёв же считает, что только семья может создать по-настоящему естественную среду для воспитания ребёнка. Сироты – это дети, лишённые нормального воспитания. Поэтому общество, чтобы как-то компенсировать этот изъян, обязано создавать искусственные семьи в виде общественных сиротских заведений. Таким образом, государственное образование в любом случае не может начаться, пока не будет завершено семейное. Индивидуализму педагогической системы Руссо Шевырёв противопоставляет общественную систему И.Г. Песталотци. Педагогический опыт швейцарского воспитателя Шевырёву представляется весьма полезным в качестве компенсации семейных отношений для детей-сирот.

Можно полагать, что в своей речи Шевырёв нашёл то «правильное» решение проблемы частного образования, которое искал Николай I. Частное образование как таковое не отменялось, но теперь оно становилось семейным, т.е. на семью возлагалась ответственность за воспитание детей, вместе с тем и обозначались цели этого воспитания – подготовить ребёнка к дальнейшему образованию в государственных учебных заведениях. Фактически это означало, что теперь частное образование в России строилось по моделям государственного, или, точнее, частное, т.е. семейное, воспитание становилось государственным делом. Таким образом, подданным внушалась мысль, что они больше не принадлежат сами себе даже в пределах своей семьи.

⁸³ Там же. С. 59.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ Там же. С. 4.

В этом процессе огосударствления домашнего воспитания университетам, в том числе и Московскому, отводилась важнейшая роль. Они разрабатывали экзаменационные программы для домашних учителей, создавали экзаменационные комиссии из профессоров под председательством ректора. Эти факты при ином взгляде на историю университета вполне могли оказаться второстепенными, так как не затрагивали внутренних вопросов университетской жизни. Но для Шевырёва они имеют важнейшее значение в первую очередь потому, что через них наиболее ярко проявилась государственно-регулирующая функция университетов.

Историю Московского университета Шевырёв вписывает в систему собственных представлений о соотношении России и Запада. К началу 1840-х гг. у него выработались устойчивые антизападнические взгляды. Он решил, что западная цивилизация достигла своего предела и впереди её ожидает крах. В программной статье «Взгляд русского на образование Европы» Шевырёв поставил проблему «Россия–Запад» как «последнее слово истории». Борьба между ними типологически сопоставляется с борьбой Азии и Греции, Греции и Рима, Рима и германских народов. Стоит вопрос: кто победит в этой борьбе, сможет ли Россия «устоять в своей самобытности», образует ли она «мир особый, по началам своим, а не по тем же европейским»⁸⁶. Все великие достижения Запада – в прошлом, теперь он вступил в стадию разложения и гниения, поэтому контакты с ним для России, олицетворяющей в глазах Шевырёва здоровое начало, крайне опасны⁸⁷. Болезнь в наибольшей степени поразила Францию и Германию. Первая больна революцией, вторая – реформацией. Во Франции – разврат общества (падение нравственности, забвение религии, упадок наук, литературы, искусства и т.д.). В Германии – «самое полное развращение мысли»⁸⁸. В отличие от них Россия духовно здорова и крепка, причём её здоровье обеспечивается «тремя коренными чувствами». Имеется в виду уваровская триада. Характерно, что Шевырёв интерпретирует её в категории чувства, а не мысли, тем самым подчёркивая её органическую врождённость русскому национальному бытию. На первом месте стоит православие: «Мы сохранили наше древнее чувство религиозное». Затем идёт самодержавие: «Царь и народ составляют одно неразрывное целое». И, наконец, народность, проявляющаяся в уверенности «в том, что всякое образование может у нас тогда только пустить прочный корень, когда усвоится нашим народным чувством и скажется народною мыслью и словом»⁸⁹.

Уваровская идеологическая установка была воспринята Шевырёвым как стимул для дальнейшего изучения Древней Руси, «в которой хранится первоначальный чистый образ нашей истории»⁹⁰. В 1844/45 учебном году он прочитал публичный курс лекций по древнерусской литературе, восторженно встреченный славянофильскими кругами и скептически западническими. И.В. Киреевский назвал лекции Шевырёва «новым событием нашего исторического самопознания»⁹¹, а присутствующий на лекции юный Б.Н. Чичерин, сравнивая этот курс лекций с прочитанным перед этим Грановским курсом западной ис-

⁸⁶ Москвитянин. 1841. № 1. С. 220.

⁸⁷ Там же. С. 247.

⁸⁸ Там же. С. 270.

⁸⁹ Там же. С. 292–294.

⁹⁰ Там же. С. 295.

⁹¹ Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 208.

тории, писал: «Ни по форме, ни по содержанию этот курс не мог сравниться с предыдущим. Талант был несравненно ниже, да и скудные памятники древней русской словесности не могли представлять того интереса, как мировая борьба императоров с папами». Впрочем, Чичерин не отрицает большого успеха этих лекций Шевырёва: «Толпа народа, наполнявшего аудиторию, студенты с синими воротниками, нарядные дамы, теснившиеся около кафедры, глубокое общее внимание слову профессора, громкие рукоплескания, сопровождавшие его появление и выход, наконец, самая речь, несколько певучая, но складная, изящная, свободно текущая, всё это было для нас совершенно ново и поразительно. Мы остались вполне довольны»⁹².

Во вступительной лекции, о которой идёт речь у Чичерина, Шевырёв развивал свою идею типологического расхождения Запада и Руси. В отличие от Запада Русь не знала античного язычества, а, следовательно, «наше русское народное... с самого начала бытия своего окрестилось, облеклось во Христа»⁹³. Второе отличие заключается в том, что Запад «рано предался заботам о деле человеческом», в то время как Русь «только слушала слово Божие»⁹⁴. Таким образом, проводится мысль, что обратной стороной европейского просвещения является бездуховность, а отсталость России компенсируется её высокой духовностью. Реформы Петра внесли раскол в русскую жизнь, но Шевырёв осуждает не царя-реформатора (фигуру харизматическую в николаевское царствование), а лишь «несчастную крайность одной стороны царствования Петрова: иноземное влияние»⁹⁵, да и то относит его к царствованию Анны Иоанновны. Наличие древнерусской литературы для Шевырёва является свидетельством того, что допетровская Русь ещё жива, и через знакомство с её памятниками русское дворянство может сблизиться с «этой, отторженной от нас (т.е. дворянства. — В.П.) частью народа», одновременно поделившись с ней дарами «образования, которые мы получили от Запада»⁹⁶.

В эту концепцию Шевырёв встраивает и феномен Московского университета. Как уже отмечалось, его история начинается ещё с допетровской Руси: «Государи Древней Руси в заботах своих о благе отечества давно питали мысль передать России сокровище наук и искусств. Иоанн IV выписывал учёных и художников в Россию», но Запад этому препятствовал: «Завистливая политика Ганзы и Ливонского ордена положила преграду намерениям царя»⁹⁷. Но и сама «Россия не могла тогда принять просвещения западного, не изменив православия», так как «Запад требовал, чтобы она купила» его «ценою измены вере своей, и вот на что никогда не могли решиться наши предки»⁹⁸. Только в ходе религиозных войн XVI–XVII вв. западная наука «освободилась от оков западной Церкви», и «только в XVIII веке образовалась эта высокая терпимость мысли, которая сделала науку доступной для всех верований, избавила приступающих к ней от необходимости отречься от коренного основания

⁹² Чичерин Б.Н. Воспоминания. Т. 1. Москва сороковых годов. Путешествие за границу. М., 2010. С. 135.

⁹³ Шевырёв С.П. История русской словесности, преимущественно древней. Т. 1. Ч. 1–2. М., 1846. С. 39.

⁹⁴ Там же. С. 39.

⁹⁵ Там же. С. 41.

⁹⁶ Там же. С. 35.

⁹⁷ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 4.

⁹⁸ Шевырёв С.П. История русской словесности... Т. 1. Ч. 1–2. С. 39.

своей жизни. Недаром Пётр I и Лейбниц современники»⁹⁹. Именно им, по мнению Шевырёва, принадлежит мысль об открытии в России университетов. При этом немецкий философ «добросовестно предупреждал... Государя, что при воспитании русского юношества необходимо ввести лучший порядок и предотвратить те злоупотребления, которые вкрались в университеты, общества и школы Европы»¹⁰⁰.

Пётр I продолжил дело просвещения русского народа, которым до него занималась Церковь. Его эпоха стала границей, отделяющей два этапа народного воспитания: «В первом периоде Россия воспитывалась Церковью, во втором воспитание её приняла на себя власть правительственная»¹⁰¹. В отличие от Западной Европы, где развитие научной мысли проходило в остром конфликте с католической Церковью, в России, как считает Шевырёв, науке «не нужно было восставать на Церковь, под покровом и благословением которой она начала свой рост в русском народе»¹⁰².

В «Истории Московского университета» аналогичные идеи высказывает в своей речи профессор французской словесности Ватэ: «Наука возникла у нас [в России] не из смятений, не из недр вражды и раздора, не среди религиозных возмущений, потрясений и ненависти, как на Западе, но в спокойствии и тишине страстей, из прекрасного стремления государей русских просветить отечество»¹⁰³. Эта концепция мирного развития научного знания в России под постоянной опекой правительства, в отличие от Западной Европы, где науке пришлось самостоятельно и в острой борьбе с Церковью прокладывать себе дорогу, хорошо укладывается в общее для слафянофилов представление о мирном характере русской государственности, возникшей не в результате завоеваний, как на Западе, а путём добровольного призвания варягов.

Таким образом, университет, перенесённый с Запада, органично прижился на русской почве и очень быстро приобрёл национальный характер. Своеобразие русских университетов состоит не в их корпоративности, а, наоборот, в управляемости со стороны правительства. Университеты в России, как считает Шевырёв, являются естественной опорой самодержавия, уже в силу того, что они были созданы самодержавным правительством. В 1790-х гг. московские профессора в своих речах, осуждая «ужасы» Французской революции, противопоставляли им «верные основы и залогов счастья русской жизни, заключённые в самодержавии»¹⁰⁴.

Стабильность и счастье России заключается, по мнению Шевырёва, не только в самодержавной власти, но и во всём национальном укладе России. Ссылаясь на речь профессора латиниста Баузе, он опровергает представление о Древней Руси как непросвещённой стране. Для Шевырёва допетровская Русь и императорская Россия представляют собой две стадии единого просветительского пути, напоминающие приводимое выше противопоставление домашнего и государственного образования. Допетровская Русь – религиозная и самобытная страна, но тем не менее нуждающаяся в европейском просвещении, для того чтобы войти в число мировых держав, как ребёнок, получивший

⁹⁹ Там же. С. 40.

¹⁰⁰ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 5.

¹⁰¹ Шевырёв С.П. История русской словесности... Т. 1. Ч. 1–2. С. 19.

¹⁰² Там же. С. 41.

¹⁰³ Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета... С. 301.

¹⁰⁴ Там же. С. 247.

домашнее воспитание, нуждается в университетском образовании, для того чтобы стать по-настоящему образованным человеком. Если первое без второго недостаточно, то второе без первого невозможно. Точно так же европейское образование в России невозможно без опоры на изначально присущие ей религиозность и народность. Западный мир как был, так и остаётся, по мнению Шевырёва, враждебным России. Одним из доказательств этого служат войны, которые европейские страны ведут против России. В 1812 г. «от Запада приняв науку и добросовестно возделав её у себя, от него же принял университет меч и огонь, опустошившие сокровища его образования»¹⁰⁵.

Военная тематика актуально звучала и в год столетнего юбилея Московского университета, когда в Севастополе шли ожесточённые бои против французов и англичан. В этом противостоянии России и Запада Шевырёв видел важный момент национального самопознания: «Брани от Запада были всегда нам полезны тем, что призывали нас к народному самопознанию»¹⁰⁶. Главную роль в этом процессе Шевырёв отводит университету: «Денно и ночью наука пускай работает над познанием России и огромных её сил природы телесной и духовной»¹⁰⁷.

Шевырёвская «История», выпущенная в свет в январе 1855 г., всего за месяц до смерти Николая I, случайным образом стала подведением итогов всего царствования в сфере образования, понимаемого достаточно широко как «образование русского народа на тех коренных началах, которые определяют его историю и составляют крепость его жизни»¹⁰⁸. Отмечая, что «история Университета Московского занимает в ней только малую и скромную часть, но не менее значительную, как часть одного великого целого», Шевырёв тем не менее на примере своего университета даёт общую модель образовательного процесса, подчёркивая её специфически русский характер. Единственный просветитель России – её правительство, а русские университеты – один из важнейших каналов государственного просвещения. Свой нарратив Шевырёв строит как проекцию законодательных текстов на ось летописного повествования. Историческим признаётся лишь то, что имеет соответствие в нормативных актах университетской жизни. Живая история с её непредсказуемостью превращалась в своего рода отчёт о выполнении правительственных распоряжений и успехах, являющихся прямым следствием этих распоряжений. Исключение временного фактора приводит к тому, что университетская история излагается как последовательное развёртывание в пространстве неких константных принципов, проявляющихся на разных уровнях, но всегда остающихся неизменными. История Московского университета репрезентует историю русского университета как такового. Русский университет является моделью русского просвещения, которое остаётся единым на протяжении всей русской истории. Последняя, в свою очередь, определяется как некая норма истории человечества, осознающая себя на фоне искажений, вносимых в неё Востоком и Западом: «Некогда грозило нам варварство от татар и Востока: теперь оно грозит нам от Запада»¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Там же. С. 420.

¹⁰⁶ Там же. С. 376.

¹⁰⁷ Там же. С. 576.

¹⁰⁸ Там же. С. 468.

¹⁰⁹ Там же. С. 576.

Шевырёвская «История» по сути дела противоречит истории как таковой. Она призвана не рассказать читателю, что произошло, а, наоборот, убедить его в том, что ничего не происходит. Поскольку существующий порядок признаётся нормальным и неизменным, то любые отклонения от него являются нежелательными. Накануне севастопольской катастрофы эти представления не просто противоречили действительности. Они с ней вообще не соприкасались.

Корпоративная история Московского университета, история конфликтов, с её подъёмами и падениями, сложными взаимоотношениями с властью, предержащими, научными спорами и т.д. фиксировалась в частных свидетельствах и мемуарах и ждала своего историка.